

Оленьи рога

1

Уже много дней живет она в доме отдыха на берегу моря. После долгой болезни приехала она сюда, и первые три дня не выходила из дому, сидела на гулкой холодной веранде, грустно смотрела на прыгающих по соснам белок.

На четвертый день она просыпается рано утром, когда за окном сто

ит еще полутьма медленного весеннего рассвета. Она одевается, выходит на крыльцо и начинает розоветь от холода, от запаха мартовского снега, от вида поросших соснами холмов, от утренней чистоты и тишины. Она осторожно сходит на подтаявшую вчера днем и замерзшую за ночь дорожку, расставив руки, делает несколько шагов. Льдинки хрустят, звенят у нее под ногами. Этот хруст и звон прозрачен, громок и что-то напоминает ей, давно забытое. до сердцебиения сладкое и тайное. Не оглядываясь, она все дальше уходит от дома, поднимается на холм, видит внизу замерзшее море с темной полосой свободной ото льда воды у горизонта, видит, как постепенно все светлеет кругом и как наконец встает солнце, еще неяркое-белое, еще бессильное.

Возвращается она пахнущая морозом и, когда проходит столовой, здоровается с отдыхающими, — низко наклоняет лицо, прячет улыбку, прячет одурманенные глаза.

Как все выздоравливающие, она делается беспричинно счастлива, и счастье ее особенно свежо и остро, потому что ей шестнадцать лет, потому что глаза ее загадочны, темны и влажны, потому что она одна и свободна, а воображение ее наивно и романтично. И еще потому, что необычайным, сказочным кажется ей все вокруг.

Каждое утро восторгом сотрясает ее глубокий добрый голос диктора: «Руна Рига! Парейс лайкс...» Каждое утро, хрустя каблуками, ставя ноги во вчерашние свои следы, идет она к холмам, — вытягиваясь, закидывая тонкое лицо, ломает вербу и ставит ее дома в вазу. И все дольше бродит совершенно одна в сосновых борах, выходит к морю, замирая от страха, идет по льду и наконец останавливается, еле переводя дух, боясь пошевелиться, чувствуя, как покачивается, волнуется лед.

Потом она идет обратно и с задумчивым любопытством осматривает заколоченные на зиму пустые дома. Ей делается отчего-то жутко-весело, как будто входит она в фантастический мир сказок, которыми, стыдись, втайне от всех, зачитывается еще и сейчас. Она не с кем не знакомится в доме отдыха, только аккуратно здоровается тонким голоском, едва не приседая по-школьному, пламенея, таща, боясь взглянуть на того, с кем поздоровалась.

Ее одиночество, свобода, ее прогулки нравятся ей все больше, она перестает даже думать о времени, когда придется ей уезжать отсюда. Но чем чаще она уединяется, чем взрослее, строже хочет казаться на людях, тем больше видна в ней девочка.

Однажды ее встречает молодой лыжник. В вязаном свитере, с сухими сухими ногами, — он замедляет бег, останавливается и долго смотрит ей в спину. А она спешит пройти, упорно глядя себе под ноги, стараясь притвориться рассеянной, не замечая, какой живой делается вдруг ее походка. С этого дня он часто прибегает сюда на лыжах, взлетает на холмы, оглядывается, но больше ее не встречает ее...

Лыжники в лесу дома, один красивее другого, светит солнце, лежат боры, у деревьев сине-зеленые тени, прыгают по соснам белое, зеленеет, желтеет на бетонных столбах ограды плотный мох.

А ночью тягуче вызванивают часы-куранты на кирхе, редко, в два тона гудит электричка, потрескивает дом, шуршит в водосточной трубе лед, и шумит вдали море. Остро, колко пахнет зернистым снегом, сосновой корой и горькими липкими почками. С каждым днем все продолжительнее, все стекляннее вечерняя заря, все глубже и холоднее по тону небо над ней, все синее и пронзительней на востоке звезды. А когда закат погаснет, подернется слабой желтизной, переходящей в зелень, в лиловость, – черными тогда кажутся на его фоне деревья, дома с прозрачными верандами, кирха и крест на ней.

Ночью девочка летает во сне над холмами, слышит тихую музыку, и у нее щемит сердце от страха и восторга. Проснувшись, чувствуя головокружительную легкость, она важно думает о том, что с ней происходит. А происходит с ней что-то необычное, совсем ей непонятное. Она почти не отвечает на письма, она влюблена в глухие боры, в музыку, в одиночество. Она любит заброшенность, безмолвие, любит тихие солнечные поляны, заросли краснотала, сизо-серебристые канадские ели, каменные мрачные гроты в холмах.

Вечерами в доме отдыха, в гостиной со старинной мебелью растапливают камин. Трепчат поставленные стоймя березовые дрова, пляшут на стенах багровые пятна, слегка пахнет дымом, и светятся большие холодные окна, выходящие на запад.

А она уже ждет этой минуты, на пыпочках спускается в гостиную, забирается в кресло и смотрит в огонь огромными блестящими глазами. Иногда, оглянувшись на окна, прислушавшись к говору отдыхающих в далекой столовой, она подходит к ореховому кабинетному роялю и открывает крышку. Клавиши рояля смуглы от времени, туги и холодны. Нажав на скрипящую педаль, она ударяет по клавише и слушает томительный, затихающий звук. Ей хочется вспомнить музыку, слышанную во сне. Она подбирает аккорды, пальцы ее холодеют, ее знобит, ей кажется уже, что вот-вот она все вспомнит... Нет, все нето, не так, все не похоже! И, осторожно закрыв крышку, подышав на лак и оставив на нем туманное пятно, она опять забирается с ногами в кресло, опять рассеянно смотрит в огонь, слушает треск, с наслаждением ощущает странно-печальный, какой-то домашний запах березового дыма. «Что со мной? – изумленно думает она. – Отчего так болит, ноет сердце? И отчего эта боль так сладка?»

С некоторых пор ее внимание привлекает один пустой дом. Стоит он на большом участке, под деревьями, и еле виден из-за ограды. Двери его забиты, окна закрыты деревянными жалюзи, крыша под темной черепицей высока и остра, крыльцо занесено снегом – оттаяли только верхние ступени. Под окном в мезонине прибиты к стене лаково-коричневые рога оленя, а окно почему-то не загорожено и вместе с верандой бледно отсвечивает на закате. Снег вокруг дома нетронут, чист, участок особенно велик, особенно глух, ограда особенно высока и прочна. Только в одном месте выломаны планки, и в дыру лезят собаки. Оставляя глубокие отчетливые следы, все они бегут к старой кряжистой сосне, а от нее – веером куда-то в глубь участка.

Оленьи Рога – так называет девочка дом и участок вокруг него. И почти никуда уже не ходит, а идет каждый раз к Оленьим Рогам, с удовольствием видит свои вчерашние следы, убеждается, что никто больше не побывал здесь, садится на пень, подтыкает под оленьки пальто и замирает.

Она думает о заколоченном доме. Она воображает его пустые, гулкие, сумрачные комнаты, тишину по ночам, тонкие лунные иглы, пробивающиеся сквозь ставни.

А поляна полна блеска, света, солнце напекает так, что тает смола на солнечных сторонах сосен, стволы верб потекут, стоят в темных лунках, и пушисты уже, туманно-сизы и гибки их набухшие ветки.

2

Случается это в день, когда особенно тепел и прян весенний воздух, особенно кружится, туманится голова и томительно замирает сердце, – девочка вдруг тихо ахает, закрывает рот руками и смотрит все глаза на дом: наверху, в мезонине, открывается окно и наружу выглядывает человечек!

Он вылезает задом, достает ногами до оленьих рогов и крепко хватается за отросток. Тотчас же просовывается через окно узкая тонкая лестница. Человечек устанавливает ее и первым спускается вниз, на крыльцо. За ним следом спускается другой. «Да это же тролли! – догадывается она. – Волшебные троллики! Они живут в этом заколоченном доме!» И, пригнувшись, приоткрыв рот, она следит блестящими глазами за обитателями дома.

Одеты они в старинные одежды: чулки и короткие штаны, длинные лиловые камзолы. Оба бородаты и важны, оба в красных колпачках с кисточками, оба курят старинные голландские трубки. Усевшись рядом на верхней теплой ступеньке крыльца, они свешивают ноги, поднимают лица к солнцу и замирают. Только то у одного, то у другого вылетают изо рта, из зеленоватых бород клубочки дыма.

Дым несет в сторону спрятавшейся девочки, она чувствует странный аромат юга, благоухание тропиков, она часто, глубоко дышит, а воздух дрожит, струится, шорохи слышатся со всех сторон – падают сосульки и сосен комки снега... Тролли вдруг встают и деловито, друг за другом, идут по синему снегу к зарослям вербы. Там они долго нюхают что-то, выкапывают и рассматривают, поднося близко к глазам, какие-то корешки. Потом вытирают руки и начинают играть, кидая друг в друга пушистыми шариками вербы, бегают неторопливо, с достоинством, сохраняя на лицах задумчивую важность и не выпуская рта трубок. Наигравшись, они бредут к крыльцу, поднимаются в дом, стягивают лестницу внутрь. Окно захлопывается, и дом опять становится необитаемым.

На перевале дух, одурманенная солнцем и дымом из трубок тролли, тихая и строгая – девочка идет домой, больше всего боясь, что по

лицу ее узнают, что с ней произошло, начнут расспрашивать, допытываться... И весь день она сама не своя, смотрит на все вокруг совсем одичавшими глазами, мучаясь сомнениями, уже не веря тому, что видела, — и еле может дожждаться ночи.

А ночью она ложится не раздеваясь и думает о троллях. Ей не спится, голова горит, пересыхают, трескаются губы. На кирке бьют куранты, дом отдыха безмолвен, но ей кажется, что кто-то ходит по комнатам, заглядывает в окна, трогает клавиши рояля в гостиной.

Изнемогая от волнения, страха, от радостного озноба, она встает, прислушивается, замирая и оглядываясь; выходит на крыльцо и опять, как и в первый раз, болезненно поражается тишине, острым синим звездам и запаху снега.

Боясь оглянуться, бежит она парком, запыхавшись, выбегает на улицу и идет мимо спящих домов, мимо магазинов с запертыми ставнями, под фонарями, постукивает каблуками по рубчатым каменным плитам тротуара и наконец сворачивает к морю, к Оленьим Рогам.

Остаются позади фонари, сразу глохнет и голубеет все вокруг, подступают к тропинке черные сосны и ели, становится виден свет луны. У оград лежат резкие глубокие тени, снег сияет и как будто дымит.

Подойдя к Оленьим Рогам, она поднимается на цыпочки, смотрит в глущую тьму частых деревьев: сквозь жалюзи дома пробивается свет. Будто во сне, идет она вдоль ограды, доходит до выломанных планок, нагибается, пролезает в дыру. Сначала она широко и редко шагает по залубенелой тропе, протоптанной собаками, потом сворачивает напрямик к дому. Снег плотен, зернист, глухо хрустит под ногой. Хруст его похож на звук разрезаемого арбуза.

Она подходит к дому и останавливается. В доме горит огонь, из трубы поднимается прозрачный дым, по снегу бегут слабые шевелящиеся тени. Внутри играют на флейте, на незнакомых струнных инструментах. Звук флейты, пустой и нежный, размеренные, глуховатые аккорды струн выпевают, наигрывают старинную мелодию, изысканную и медлительную. Но ведь это та самая музыка, которую слышала она во сне! И она тотчас же вспоминает свои легкие призрачные сны, сразу узнает все, как она летала здесь, перелетая с холма на холм, отталкивалась, плыла в воздухе между редких сосен, в дымных столбах лунного света, и наигрывала, наигрывала нечеловечески прекрасная музыка...

Она подходит еще ближе к дому и видит сквозь косые прорези ставен трепещущий шафранный свет на потолке, уродливые двигающиеся тени. Крепко прижав руки к груди, она заглядывает в щель ставня.

Горит, рубиново пылает большой камин, стоит посреди комнаты грубый стол и такие же неуклюжие, высокие стулья. На столе — бочонок с вином, оловянные кружки, круглые головки сыра. За столом сидят тролли. Их много, все они бородаты, все комично серьезны и важны, пьют, едят, играют в карты и курят. С такими

важными лицами сидят на обрубках возле камина другие тролли, и самый древний из них, надвинув на глаза колпачок, отведя локоть и согнув острым углом руки, играет на флейте. Остальные серьезно, печально перебирают струны инструментов, похожих на лютни. И лишь лица танцующих немного оживлены. Танцуют тролли по-старинному, движения их плавны и округлы, поклоны изящны и почтительны. А комната полна дыма, озарена светом тонких розовых свечей в медных подсвечниках. «Что все это значит? — думает девочка. — Что за волшебный дом! И что, если пойду к ним!»

Она отходит от окна, поднимается на крыльцо и трогает дверь. К ее удивлению, дверь подается, музыка становится отчетливее, громче, будто звучит, играет сам дом, будто поют его старые балки и танцует мебель, оставленная хозяевами.

Девочка проходит веранду с разноцветными стеклами, оступью идет по коридору, робко открывает дверь в комнату, где веселятся тролли, сразу меркнет огонь в камине, обрывается музыка, вздрогнув, остаются танцующие. Дико и грозно смотрят тролли на нее. Она хочет сказать им что-то хорошее, приветливое, шевелит губами, но не может сказать, не может произнести ни звука. Зато глаза ее сияют, зато лицо ее пылает от смущения, любопытства и радости, вся она летит к троллям; и они сразу успокаиваются.

Но потаенность их жизни нарушена, — они встают, убирают еду с стола, собирают карты, открывают люк, гасят свечи и огонь в камине по очереди, серьезно и медленно, кланяясь каждый внезапной гостью, уходят под пол.

Остается один только тролль, самый старей, самый важный и урожденный, тот, что играл на флейте. И она вопросительно, умоляюще смотрит на него, ждет, что он ей скажет. Но ничего не говорит он, подходит к люку с последней свечой в руке и тоже начинает спускаться. В последний миг он оборачивается и пристально смотрит в глаза. В его взгляде — тайная доброта, обещание чего-то прекрасного, что-то необыкновенного. Что-то говорит он ей глазами, своим тысячекратным мудрым лицом, своим вещим знанием печалей и радости жизни, но она не понимает его, и ей больно от этого. Он же прикладывает палец к губам, значительно качает головой, дует на свечу и зашуршавает над собой крышку люка.

С трудом выходит она в темноте на крыльцо и садится на ступеньку. Щеки ее горят, сердце колотится. «Почему он мне ничего не сказал? — горько думает она. — Ах, да! — они ведь не могут с нами говорить... А он хотел сказать, я это видела. Ужасно интересно!»

Внезапно она чувствует что-то присутствие за спиной, оборачивается и снова видит старого тролля. Опять он смотрит на нее с задумчивой доброжелательностью, лицо его теперь, при лунном свете, еще более значительно-тайнственно, умно и веще. Но он так мал и хрупок, что ей хочется погладить его бороду и потрогать шапочку. Молча он кивает ей, прыгая со ступеньки на ступеньку, спускается с крыльца, оглядывается, манит ее. Она встает и послушно идет за ним. С

подходит к окну, в щель ставня которого она увидела веселящихся троллей, и показывает на него рукой. Замирая от предчувствия, она заглядывает в щель и тихо вскрикивает.

Вместо комнаты она видит солнечный день, холмы, поросшие соснами, и знакомого лыжника, беззвучно скользящего с холма на холм. Она видит его разгоряченное решительное лицо, его сильную худую фигуру, видит, как далеко он выбрасывает лыжи и как резко толкается палками.

Наглядевшись, она поворачивается к троллю, но того уже нет, все глухо кругом, ярко светит луна, широко раскрыли свои мохнатые ресницы изумрудные звезды и падают, падают с елей и сосен шапки снега, повисая в лунном свете легчайшими столбами снежной пудры.

3

На другой день она просыпается поздно, когда солнце уже дымно бьет в окно, лежит, расчерченное переплетом окна, палевым квадратом на полу. И опять несказанно радуется, поражает ее новый день, голос диктора: «Руна Рига!», свежий морозный воздух из форточки, запах кофе и тепло дома. Все утро она поет, танцует, когда никто не видит, подражая троллям, и падает лицом в подушку в приступах беспричинного смеха.

А после полудня, не вытерпев, снова приходит к Оленьим Рогам, боясь даже посмотреть, повернуть лицо в сторону дома. Ей кажется, что тролли рассердятся, если опять увидят ее здесь. Но она уже ничего не может поделать с собой. Неуверенно смахивает она красной варежкой пушистую утреннюю порошу, садится на пень и, вздохнув несколько раз открытым ртом, набравшись решимости, поднимает глаза на дом.

Дом необитаем, жалюзи его глухи, тускло блестят олени рога на стене, окно в мезонине закрыто. Троллей нет! Она ищет свои ночные следы на снегу, но следов не видно, и у нее обрывается, падает сердце от горького разочарования. Значит, она не приходила сюда?

Она вскакивает, бежит к ограде, уже не таясь пролезает в дыру, нагибается, пристально рассматривает, даже щупает ослепительный, ровный снег. Нет, ничего нет — одна заледенелая собачья тропка к сосне! Она подходит к дому, обходит его, трогает дверь, узнает окно, на которое показывал ей тролль, ищет щель, но ставни плотны, а дверь наглухо заколочена. И нигде никаких следов, и не было троллей, не было музыки, свечей, пылающего камина... И впервые ей становится невыносимо больно и одиноко, и она плачет, стирая варежками слезы со щек.

Среди сосен показывается лыжник, стремительно слетает с холма, поднимая снежную искрящуюся пыль, взбирается на другой и скатывается уже с него, чтобы взобраться на третий и так бежать вдоль моря, вздымаясь и пропадая.

Она сразу узнает его, прячется за угол дома и, всхлипывая, следит за ним. Она уже ничему не верит и, когда лыжник исчезает в лесу, идет, вытирая слезы, посмотреть, остались ли после него следы.

Поднявшись на холм, набрав в ботинки снегу, она видит глубокий рыхлый след, круглые ямки и чирканье палок, изумленно оглядывается и узнает все, что показал ей тролль: прекрасный мартовский день, голубые ели, темно-зеленые сосны, совсем освободившееся ото льда море, – ей делается радостно, она опять верит в чудеса, в сны и сказки, она улыбается, поднимает порозовевшее, похорошевшее лицо, вытягивает горло, прикрывает влажные еще ресницы, кричит: «Эге-ге-аой!» – и с восторгом слушает звонкое, крепкое эхо.

И сразу, услышав этот ликующий зов, тормозит палками и останавливается лыжник, поворачивает назад разгоряченное бегом лицо, идет и, не дождавшись ничего, резко, разбрасывая снег, перекидывает лыжи и мчится назад по своей лыжне.

А она с колотящимся сердцем стоит, спрятавшись за сосну, придушивается, ждет ответа, – счастливая, в распахнутом пальто, в красной, почти такой же, как у троллей, шапочке, с обнаженной тонкой шеей, с большими темными глазами на пылающем лице.

Какого ответа спрашивает она у сосен, у моря, у весны? Почему звучит ей музыка и почему летает она во сне? Почему так важно было бы что скажет тролль? Почему у нее такое лицо, с такой улыбкой встречает она каждый новый день и так уверенно и страстно ждет что-то?

И кто найдет ее, кто угадает, чего же она ждет?